



Атеизм Чехова

А. Дерман

МНОГОЛИКОСТЬ Чехова является для критики большим соблазном и искушением: каждый может, внимательно поглядев, найти у него что-либо себе «на потребу», на подкрепление личных своих взглядов, личного своего отношения к тому или иному факту. Соплется на Чехова революционер и космополит; но на него же соплется контрреволюционер и антисемит, при чем и тот и другой приведут соответственные цитаты. В посрамление народнической идеализации народа марксист обопрется на чеховских «Мужиков», а народник, возражая марксисту, — на «Мою жизнь» или «Три года», и это, действительно, делали. Одни провозглашают его лютым врагом интеллигенции, другие — ее идеологом и тоже будут цитировать Чехова, и нередко это проделают единомышленники, как, например, Кольцов и Луначарский. Одни назовут его беспримесным пессимистом, другие — жизнерадостным оптимистом. И т. д., и т. д., и т. д. При этом в один источник ошибок, который можно назвать подменой целого Чехова его частью, нередко вливаются два других, довольно обычных в критике: 1) присвоение мыслей героя художественного произведения автору последнего и 2) произвольное толкование того или иного рассказа или письма Чехова.

Есть, однако, в чеховской биографии вопросы, по которым, казалось бы, в силу их ясности не может быть уж никаких споров и недоумений, ибо нет основания для произвольных перетолковываний. Таков, например, вопрос о религиозности Чехова. В отличие от других важных вопросов биографии и творчества Чехова здесь даже не требуется производить какого-либо сопоставления, указывать на те или иные изменения во взглядах на протяжении времени и т. п., потому что заявления Чехова о его отношении к религии и по существу, и по категоричности совершенно одинаковы как в 80-х, так и в 900-х годах. Позиция Чехова здесь чрезвычайно ясна: он — атеист, но, как и во всем, к атеизму пришел самостоятельно и не поверхностью, и только такой атеизм внушал уважение этому суровому экспериментатору. И поэтому он, с одной стороны, писал к Дягилеву, близко стоявшему к религиозно-философским кругам 900-х годов: «Я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего». А с другой стороны, он в своем дневнике записал: «Между «есть бог» и «нет бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина между ними не интересует его; и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало. Легкость, с какою евреи меняют веру, многие оправдывают равнодушием. Но это — не оправдание. Нужно уважать и свое равнодушие и не менять его ни на что, так как равнодушие у хорошего человека есть тоже религия».

Все это и ясно, и для Чехова очень характерно: норма для интеллигентного человека, это — атеизм; но, ценя лишь атеизм, добытый самостоятельной работой мысли и свободный от посторонних соображений. Как известно, во время Чехова переход евреев в христианство по большей части совершался с целью избавиться от ограничений в правах. Это представлялось Чехову личной чувствительностью достоинства («Нужно уважать свое равнодушие») и слишком легким отношением к серьезному вопросу, и он не мог этого оправдать.

Казалось бы, все яснее ясного, и если о религиозности Чехова можно было гадать до опубликования его писем, то после этого

из критиков Чехова, утверждавших наличие религиозности в его рассказах, попросту ложилась обязанность проанализировать свой взгляд и найти корни его ошибочности. Вместо этого они, как, например, проф. Булгаков, свящ. Степанов и др., пошли иным путем и стали изобретать теории «скрытой религиозности», «бессознательной религиозности», «стыдливой и нерешительной религиозности» и т. п. А критический прием при этом один: перетолкование и игнорирование авторского текста.

Такого рода операциям особенно часто подвергались в указанном направлении два рассказа: «Святою ночью» и «Студент». Но если бы даже мы не имели прямых заявлений Чехова о его атеизме и ограничились бы только внимательным и непредвзятым чтением этих рассказов, то никаких выводов в пользу религиозности их автора не могли были сделать; скорее, напротив. В первом из этих рассказов дано изображение поэтической природы, поэта — и только. Этот поэт — в то же время и монах, но это — простая случайность в его биографии: он мог бы быть и пастухом, и врачом, и земледельцем... Его поэтический дар проявлялся в писании акафистов, а общая поэтичность природы — в необыкновенно мягком и нежном отношении к людям, но первое не связано у монаха Николая с его религиозностью, а второе — с его иночеством. И Чехов прямо на это указал: монах Иероним, с восторгом и умилением рассказывая об умершем своем друге, монахе Николае, о его необыкновенном искусстве, говорит: «Тут и мудрость, и и святостью ничего не подделаешь, сжали бог дара не дал». Разве это не ясно? И разве в рассказе не подчеркнута одиночество при жизни этого монаха-поэта? «В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят» — говорит Иероним. «Святою ночью» — это рассказ об одиноком поэте и только.

Еще характернее судьба рассказа «Студент», одного из чеховских шедевров. Студент духовной академии Великопольский, возвращаясь в страстную пятницу с тяги домой, греется у костра на огороде и рассказывает двум сидящим у костра бабам историю отречения апостола Петра от Христа. Растроганные бабы плачут, и студента охватывает глубокое волнение: «Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих одно из другого». И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дотронулся другой.

Толкуется этот рассказ так: мысли и настроение студента приписываются Чехову, а так как мысль студента сводится к идее непрерывной религиозной преемственности, а настроение — к религиозному умилению, то больше ничего и не требуется.

Между тем, из всех десятков и сотен толкований рассказа, какие были бы, — каждое на свой лад, — законным, незаконным является только одно: то именно, какое выше изложено, и Чехов сделал все, что было нужно, чтобы для такого толкования не было почвы, он настойчиво от него отводил читателя, и это ясно, если только быть внимательным.

Рассказ «Студент» во всех отношениях поистине драгоценен.

Студент духовной академии, это — один момент религиозного предрасположения. Дело происходит в страстную пятницу — второй такой же момент. Вот он возвращается с тяги. Погода неприятная: «Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко». Далее: «По случаю

страстной пятницы, дома ничего не варили и мучительно хотелось есть». И вот, под влиянием мрачного колорита природы, холода и чувства голода, студента посещают безотрадные мысли. «Пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Юрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше».

Итак, мрачные мысли, порожденные чисто физическими ощущениями холода, голода и впечатлением неуютного пейзажа.

У костра студент согревается; нервное и мрачное возбуждение разрешается в нем тем, что он выразительно, колоритно и драматично передает историю предательства Петра и мучений Христа. И когда он рассказывает, как заплакал Петр, и добавляет от себя несколько лирических слов: «тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...», то одна из баб, тоже, верно, голодная и захолодавшая, «вдруг всхлинула», как всхлипывала в «Мужиках» Ольга, когда, читая священное писание, доходила до непонятного слова «дондеже».

Студент покидает костер, идет дальше. Лютая бедность, гнет, дырявые крыши и невежество кругом не изменились ни на поту, но изменилось настроение у студента. Ему казалось, что «если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух». Далее и следует рассуждение о двух концах цепи, о религиозной непрерывной преемственности.

Прония позитивиста и материалиста, тщательно обосновывающего психическое движение физической причиной, здесь более чем очевидна. Но Чехов, словно забывая о сугубой гарантии против мистико-религиозного истолкования метаморфозы, происшедшей в настроении студента, этим не ограничивается и добавляет в конце рассказа: «Он... думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, повидимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-по-малу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла». Только что студенту казалось, что «пройдет еще тысяча лет, — жизнь не станет лучше». Он согрелся у костра, растрогал до слез двух баб, пережил волнение этого «авторского успеха», — и жизнь кажется ему восхитительной и чудесной уже сейчас... Ведь ему только 22 года! — с улыбкой поясняет автор.

Нельзя, кажется, более материалистически изобразить зарождение религиозного настроения. И этот рассказ критики кладут в основу доказательств религиозности Чехова! Для этого делается только одно: между 22-летним студентом духовной академии и мудрым скептическим художником, нарисовавшим с такой открытой и синхронической проницей его нальный юношеский портрет, ставится знак равенства.